



АВДОТЯ ПАНАЕВА ВОСПОМИНАНИЯ

Авдотья Панаева

Воспоминания

«Public Domain»

1889

Панаева А. Я.

Воспоминания / А. Я. Панаева — «Public Domain», 1889

Воспоминания Авдотьи Яковлевны Панаевой (Головачевой) написаны в конце восьмидесятых годов XIX в. и печатались в Историческом Вестнике (1889).

А.Я.Панаева имела возможность почти ежедневно общаться с замечательными русскими писателями – сотрудниками журнала «Современник». Трудно назвать выдающегося литератора сороковых, пятидесятих или шестидесятых годов, с которым она не была бы знакома. Фет посвящал ей стихи, Достоевский влюбился в нее с первого взгляда, Некрасов воспевал ее в своем творчестве. Но она чувствовала расположение далеко не ко всем...

© Панаева А. Я., 1889

© Public Domain, 1889

Содержание

Глава 1. Наводнение – Декабрьский бунт – Шаховской – Каратыгин – Пушкин – Cholera 1831 года	5
Глава 2. Самойловы – Мартынов – Тальони – Андреянова	18
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Авдотья Яковлевна Панаева

Воспоминания

Глава 1. Наводнение – Декабрьский бунт – Шаховской – Каратыгин – Пушкин – Холера 1831 года

Я родилась и выросла в театральном мире. Мои отец и мать (Брянские) были артисты императорского театра в Петербурге.

Я очень отчетливо помню свое самое раннее детство. В моей детской памяти запечатлелось множество лиц, которых я видела, разговоры, которые я слышала. Я слишком рано стала наблюдать все, что вокруг меня делалось и говорилось взрослыми.

Мы жили в казенном доме, в котором давались квартиры семейным артистам и театральным чиновникам. Контора театра помещалась в том же доме и занимала квартиру в четыре комнаты. Чиновников тогда было очень немного, и я знала их всех в лицо: Зотова – романиста, Марселя, Ситникова и еще нескольких человек, которых фамилии забыла. При театре был доктор Марокети, маленький господин с большими черными глазами, у которого почему-то постоянно качалась голова, как у алебастровых зайчиков.

При вступлении А. М. Геденова в должность директора театров, в 1833 году, театральные чиновники быстро стали размножаться, так что очень скоро из них образовался целый департамент. Киреев, Ротчев, Федоров – водевилист, часто бывали у нас: все они были бедняками и еще не играли той важной роли при театре, как впоследствии. Потом уже Киреев и Федоров сделались богачами, даже писец Крутицкий, которого я видела по вечерам в детстве дежурным в конторе, ходившим босиком, чтобы не износить свои сапоги, – и тот нажил себе дома, дачу.

Казенный дом, где мы жили, был большой: он выходил на Офицерскую улицу, на Екатерининский канал у Пешеходного мостика со львами, близ Большого театра, и в маленький переулочек (не помню его названия), выходивший на Офицерскую улицу. Сначала мы жили в квартире, окна которой выходили на Екатерининский канал; потом отец занимал в этом же доме более обширную квартиру, и уже наши окна выходили в маленький переулок и на Офицерскую улицу.

В день наводнения в Петербурге в 1824 году (7 ноября) я смотрела на затопленные улицы из окон квартиры, выходивших на Екатерининский канал. Хотя мне было немного лет, но этот день произвел на меня такое впечатление, что глубоко врезался в моей памяти. Под водой скрылись улицы, решетки от набережной, и образовалась большая река, посреди которой быстро неслись доски, бочки, перины, кадки и разные другие вещи. Вот пронеслась собачья будка на двух досках, с собакой на цепи, которая, подняв голову, выла с лаем. Через несколько времени несло плот, на нем стояла корова и громко мычала. Все это быстро несло по течению, так что я не успевала хорошенько всматриваться. Но плывшая белая лошадь остановилась у самого моего окна и пыталась выскочить на улицу. Однако решетка ей мешала; она скоро выбилась из сил, и ее понесло по течению. Эту лошадь мне чрезвычайно было жаль, и я не пожелала более смотреть в окно.

Услыхав разговоры теток, что отец едет на лодке спасать утопающих, я побежала глядеть на него в окно во двор. Двор наш тоже был залит водой, поленицы были размыты, и дрова плавали по воде. Отец стоял в лодке и отпихивался багром, направляя лодку к воротам. Я смотрела на бабушку, которая тяжело вздохнула и перекрестилась, когда лодка скрылась в воротах. По ее морщинистым щекам текли слезы. Бабушка пошла на кухню, я последовала за

ней; там сидело несколько женщин с детьми: это были жены статистов, квартиры которых в нижнем этаже затопило водой. Бабушка распорядилась, чтоб им дали поесть, а я вышла в сени, заслышав мычание коровы. На ступеньках лестницы сидели статисты с узлами, с самоварами и образами. На верхней площадке навалены были сундуки, столы, кровати, тюфяки и подушки, а на нижней стояла корова и корзины, обмотанные тряпьем, в них бились и кудахтали куры. Две дворовые маленькие собачки, дрожа, прижались к стене.

Не знаю, кого мне было жаль: людей или собак? Должно быть, собак, потому что я стала их звать к себе, но меня увидела наша прислуга, зачем-то вышедшая в сени, и выпроводила в комнаты.

Это утро показалось мне бесконечно длинным и тоскливым. День был пасмурный, ветер завывал, и раздавалась пушечная пальба. Когда стало смеркаться, я заметила тревогу на лицах старших, – они поминутно смотрели в окна, а бабушка сердито ворчала: «сумасшедший, у самого куча детей!»

Я поняла, что бабушка сердится на отца, и удивлялась – почему она боится за него. Я была уверена, что он не утонет, потому что видела раз, когда мы летом жили на даче, как он в охотничьем платье переплывал большое пространство воды с одного берега на другой, действуя одной рукой, а в другой держа вверх ружье и пороховницу. Наохотясь, он тем же порядком возвращался назад. Мать и бабушка бранили его за это, а мы, дети, были в восторге от такой выходки отца. Однако, тревога старших подействовала и на меня, и я ужасно обрадовалась, когда отец вернулся домой, весь мокрый и иззябший.

Не знаю, от кого отец получил бумагу, где ему была выражена благодарность за спасение утопающих в день наводнения.

У нас постоянно бывали гости, преимущественно статские, а потому на военных гостей я всегда обращала особенное внимание, когда они приезжали к нам. С графа Милорадовича я не спускала глаз; меня удивляла его необыкновенно выпуклая грудь с орденами; его небольшие усы были черные, а коротенькие волосы на голове совершенно другого цвета. Когда он смеялся, то кисточки на его эполетах дрожали. Он играл с отцом всегда на биллиарде. Потом уже я узнала, что он был большой театрал.

Другой военный гость, декабрист Якубович, бывал у нас чаще. Должно быть, он любил детей, потому что постоянно подзывал к себе кого-нибудь из нас. Для детей его фигура была страшна. Якубович был высокого роста, смуглый, с большими черными усами; но главное, что нас страшило, – это черная повязка на лбу, прикрывавшая полученную им рану пулей. Я была из смелых детей, не боялась его, и часто подолгу сидела у него на коленях; он давал мне играть своими часами и чугунным кольцом, которое снимал с пальца.

– Где моя храбрая девочка? – спрашивал Якубович, если не видел меня в комнате.

Якубович постоянно спорил со всеми и очень горячился, когда говорил. Часто, сильно разгорячась, он сдвигал свою черную повязку со лба на волосы, которые у него были черные, густые и стояли дыбом, и я всякий раз рассматривала круглое углубление у него на лбу и даже раз ткнула пальцем в это углубление, чтобы удостовериться, есть ли там пуля. Он очень смеялся и защитил меня, когда тетки накиннулись на меня и хотели наказать за мою дерзость.

Меня никто не ласкал, а потому я была очень чувствительна к ласкам.

День возмущения 14 декабря 1825 г. я также хорошо помню. На лицах у всех взрослых был испуг. Мать и бабушка уговаривали отца не ходить на Сенатскую площадь, но он ушел. Когда у нас задрожали стекла от пальбы, то все пришли в ужас. Наш лакей, побежавший смотреть бунт, вернулся бледный, дрожа всем телом, и рассказывал, что не мог попасть на площадь, потому что она окружена войсками, причем ему говорили, что там убито много народу. Я тоже расплакалась при виде слез бабушки и матери. В этот день никто из старших в семье не садился за обед. Все повеселели, когда отец вернулся домой. Я слушала его рассказ, как убили графа Милорадовича на площади, как стены домов, где стояли бунтовщики, окрасились кро-

вью. Мне сделалось страшно после этих рассказов. Не могу определенно сказать, чрез сколько времени, но что-то скоро, отца и актера Борецкого взяли к допросу; отца продержали с утра до поздней ночи. Все наши домашние были еще в большей тревоге, чем в день бунта. Я не могла заснуть, видя, как бабушка то молилась на коленях перед образом, у которого зажгла лампаду, то горько плакала, уткнув лицо в подушку, то бросалась к окну, заслышав стук дрожек на улице. Отец вернулся домой, а Борецкий лишь через месяц, а может быть и более, возвратился в свое семейство. Отца допрашивали о его знакомстве с Якубовичем. У Борецкого младший брат был офицером в Московском полку и в день бунта ночевал у него.

Я очень любила присутствовать при считке ролей, или при домашних репетициях, которые у нас бывали. Детям запрещено было в это время входить в кабинет отца, где собирались актеры и актрисы, но я заранее пряталась в укромный уголок, между турецким диваном и бюро, и оттуда наблюдала за всеми.

Отец не мог меня видеть, потому что сидел всегда посреди большого турецкого дивана, за круглым столом с развернутою большою тетрадью, я же находилась вдали от него и была закрыта от сидящих на диване актерами и актрисами. У всех в руках были роли; кому приходила очередь читать свою роль, тот выступал на средину комнаты; иногда выступало двое или трое.

Князь Шаховской был мой крестный отец, но это не мешало мне передразнивать его в детской, как он распекал актеров и актрис, когда они читали свои монологи. Детям всегда кажутся в преувеличенном виде рост и полнота в людях, и живот князя Шаховского представлялся мне огромным. Не могу сказать, был ли он в это время директором театра; но он всегда присутствовал на описанных выше собраниях у нас. Лицо у него было широкое, щеки и подбородок висели на белой косынке, обмотанной на короткой и широкой шее. Волосы на его голове были неопределенного цвета, очень жидкие, но длинные. Когда он сердился, что плохо читают стихи, то ерошил себе волосы, и длинные жидкие пряди путались и придавали чрезвычайно смешной вид его лицу. Он слегка шепелявил.

– Ты, миленький, подлец! – подскакивал он к актеру Калинину. – По трактирам шляешься, а роль не учишь!

Калинин каждый день обедал у нас. Он запивал и имел дурную привычку перевирать слова в своей роли. Как актер, он был из плохих и большею частью ему давались маленькие роли.

Молодых актрис князь Шаховской часто доводил до слез, заставляя их по несколько раз начинать свой монолог, и все кричал:

– Читай своим голосом! Пищишь! Ты, миленькая, дурища, уха у тебя нет! Где у тебя размер стиха? В прачки тебе надо было идти, а не на сцену.

Доставалось и В. А. Каратыгину от князя Шаховского. Каратыгин тогда был молод; мне он казался великаном. Выражение лица у него было хмурое, но хмурость еще более усиливалась, когда князь Шаховской распекал его.

– Зарычал, завыл! – ероша волосы, говорил князь Шаховской. – Стой, у тебя, миленький, дурак, каша во рту, ни одного стиха не разберешь! На ярмарках в балагане тебе играть! Повтори!

Каратыгин видимо сердился, но повинился и повторял монолог.

И. И. Сосницкому, молодому тогда еще актеру, тоже немало доставалось от Шаховского.

– Опять зазююкал, миленький, – кричал князь. – Ведь ты с придворной дамой говоришь, а не с горничной, что губы сердечком складываешь. Раскрывай рот!

Только когда читала свою роль Екатерина Семеновна Семенова, Шаховской не останавливал ее, а в длинном монологе, как бы слушая музыку, покачивал в такт головой.

Екатерина Семеновна считалась в то время первой трагической актрисой. Она была тогда уже пожилая женщина, небольшого роста; лицо у ней было продолговатое, строгое. Я нахо-

дила в ней большое сходство с женским бюстом, который стоял у отца на шкафу в кабинете: такой же прямой нос, такие же губы. Мне не нравилось в Екатерине Семеновне, что у нее была маленькая жиденькая косичка на голове, зашпиленная одной шпилькой.

Я помню ее белую турецкую с букетами шаль; тетки восхищались этой шалью и говорили, что она очень дорогая и ее можно продеть в кольцо. Екатерина Семеновна всегда была в этой шали. Она не надевала никаких драгоценностей, но из рассказов теток я слышала, что у нее много бриллиантов и что она очень богата. Я видела у нее только маленькую золотую табакерку с камнями на крышке; она постоянно вертела ее в руках и часто из нее нюхала табак. Тогда нюханье табаку дамами так же было распространено, как теперь курение папирос. Я заметила, что все относились к Семеновой с особенным почтением, да и она держала себя важно со всеми. Приезжала она к нам в своей карете, с ливрейным лакеем. Кажется, она уже была тогда замужем за князем Гагариным.

Ее сестра, красавица Нимфодора Семеновна, тоже выезжала всегда в своей карете и с ливрейным лакеем. У остальных актрис ни у кого не было ливрейных лакеев.

Нимфодора Семеновна не бывала у нас; она была тоже актрисой, но, как говорили, не имела таланта. Не могу сказать, была ли она тогда на сцене, когда я ее видела. Она всегда приезжала на Пасху к заутрени в церковь Театрального училища. Я не сводила с нее глаз – такая она была красавица: высокая, стройная, с необыкновенно нежным цветом лица, с синими большими глазами и, как смоль, черными волосами, в которых блестела бриллиантовая гребенка.

Отец купил у Грибоедов несколько актов его комедии «Горе от ума» для своего бенефиса. Все, в том числе и мать, находили, что отец сделал большую ошибку, заплатив дорого автору; предрекали, что полного сбора не будет, потому что афиша не заманчива. Но их предсказание не исполнилось. За день до бенефиса билеты уже все были разобраны в кассе, и много ливрейных лакеев являлось к нам на дом за билетами, но отец никогда не брал из кассы билетов, чтобы продавать на дому, а также не развозил сам ни кресел, ни лож в свой бенефис богатым театрам и важным особам, что делали все артисты, не исключая В. А. Каратыгина. Был комический актер Величкин, так тот вползал на четвереньках к богатым купцам-театрам, положив билет себе на лысую голову.

В. А. Каратыгин прежде часто бывал у нас; изредка приезжала с ним в гости к нам и его жена. Но потом оба прекратили свои посещения. Моя мать и А. М. Каратыгина были на одном амплуа. Драма «Тридцать лет, или жизнь игрока» делала большой сбор, и ее часто давали на сцене. В этой драме они чередовались. Соперничество поселило между ними вражду, которую раздували закулисные сплетники. Они даже перестали кланяться друг с другом. Не знаю, как Каратыгина, но мать постоянно бранила мужа и жену Каратыгиных и жаловалась, что Каратыгин играя с ней, нарочно пропускал реплики, чтоб сбивать ее, становился не на ту сторону, куда следовало, и т. п. Раз мать вернулась со спектакля в слезах: по наущению Каратыгиных, ей подставили надломленную скамейку, сидя на которой ей нужно было читать большой монолог. Очень может быть, что Каратыгины не были причастны к этому делу, а был просто недосмотр бутафора.

Отец и В. А. Каратыгин являлись изумительным в театре примером: в продолжение 30-ти лет они одевались в одной уборной, хотя каждый из них имел право требовать себе отдельную уборную. Никогда между ними не было никаких ссор, несмотря даже на то, что их жены были во вражде между собой.

Я не слыхала, чтоб отец, приехав с репетиции или со спектакля, передавал закулисные новости, – а их всегда бывает много. Он был равнодушен, если Каратыгина вызывали лишний раз сравнительно с ним. Отец ни с кем из артистов не ссорился, да и особенной дружбы не водил. Он ни к кому никогда не ходил в гости, а у него все бывали. Часто отец, приехав после спектакля, находил у себя множество гостей, играющих в карты на нескольких столах. Мать не могла обойтись вечером без карт. Отец, поужинав, отправлялся спать. Он был ленив по натуре

и любил спокойствие. Он даже до непростительности отдалял от себя все заботы о детях; мать самовластно распоряжалась всем. Рассказывали, что отец в молодости был очень горяч и в гневе ничего не помнил. Вследствие этого, мать не позволяла ему вмешиваться в воспитание детей.

Мне кажется, что отец потому относился так равнодушно к закулисным интригам, что у него слишком много было других интересов. Он был страстный охотник и считался лучшим стрелком в Петербурге. Тогда окрестные острова были пустынные, и водилось на них очень много дичи. Летом он ездил на эти острова охотиться; у него была своя лодка, и на все лето нанимался гребец. Зимой отец ездил на медвежью охоту и на лосей и всегда возвращался с добычей. Он сам дрессировал своих собак. Одна собака была у него огромная, и он очень ею дорожил, но она так была зла, что постоянно сидела на цепи в кабинете и если срывалась с цепи, то все домашние запирались от нее и ждали возвращения отца из театра, чтобы посадить ее опять на цепь. Отец сам выводил Алмазку прогуляться по двору, при чем заранее всех извещали, что Алмазку сейчас выпустят, тогда люди прятались, а остальные собаки, поджав хвост, ложились на спину, в ужасе ожидая смерти. Много хлопот и денег стоила отцу эта злая собака. Алмазка была так зла, что рычала на отца, когда он ее бил, и держалась постоянно в ошейнике с внутренними гвоздями. Нас, детей, она не допускала к себе, да и мы сами не смели приближаться к ней. Но она полюбила поваренка лет 13-ти, которого к себе взял в обучение наш повар. Этот мальчик делал с ней, что хотел, катался на ней верхом, изо рта брал у нее кость, и она только лизала его руку.

Однажды Алмазка бросился на мать и чуть не укусил ее; только тогда отец расстался с своей злой собакой. К нам ездил охотник из города, который занимался дрессировкой охотничьих собак и был зажиточный человек; он выпросил у отца Алмазку; отец его предупреждал, чтоб он был осторожен с ней. Охотник обидчиво отвечал:

– Помилуйте, Яков Григорьевич, двадцать лет дрессирую собак – и не справлюсь с вашим Алмазкой?! Я его вышколю так, что он у меня будет шелковый.

Через месяц этот охотник явился к отцу с перевязанной рукой.

– Что, брат, верно Алмазка поцеловал у тебя руку? – спросил отец.

– Зато же ему и досталось от меня, отучится кусаться! – отвечал охотник.

– Алмазка злопамятная собака, никогда не снимай с него ошейника с гвоздями, когда будешь бить его, – опять предостерегал отец охотника.

Охотник, вероятно, не послушался совета отца, и Алмазка на охоте так изгрыз его, что он долго хворал и умер.

Отец любил певчих птиц, у него было много дорогих жаворонков и соловьев. Он сам насвистывал им мотивы, закрывая клетку зеленым коленкором.

В карты отец не любил играть, а был искусный бильярдный игрок. В Петербурге был известный бильярдный игрок маркер Тюря; с ним отец иногда устраивал у себя партию, и многие любители бильярда приезжали смотреть на их бильярдный поединок, держали большое пари кто за отца, кто за Тюрю. Очков вперед они не давали друг другу, а кидали жребий, кому начинать. Случалось, что, кто первый начинал, тот и выигрывал партию.

Тюря был невзрачной наружности, маленького роста, с каштановыми волосами, остриженными в кружок, с жиденькой бородкой, одевался бедно, ходил в поношенном длиннополом сюртуке, с намотанным на шее бумажным платком и в высоких сапогах с кисточками.

Этого Тюрю я потом видела остриженного, завитого, расфранченного, в светло-синем фраке, с бриллиантовым перстнем на указательном пальце. Он выиграл несколько сот тысяч злот в польскую лотерею; но очень скоро прокутил их, потому что его окружили приятели, которые втянули его в азартную игру в карты, подбивали жить барином, задавать пиры. Тюря обижался, что отец не приезжал к нему на его пиры.

– Хоть бы раз посмотрели, Яков Григорьевич, как я теперь живу-с, – сказал Тюря, приехав раз в коляске приглашать отца на обед к себе.

– Зачем мне ехать к тебе, я и так вижу, что ты дурак-дураком сделался, – отвечал, отец.

Наконец, приятели обыграли и обобрали его. Долгое время после этого Тюря не был у нас, но вдруг явился к отцу и стал просить его сыграть с ним партию на большие деньги, тогда как прежде партия всегда шла на пустяки.

– Вы думаете, Яков Григорьевич, что у меня денег нет? Да у меня теперь втрое больше стало, я ведь опять выиграл в польскую лотерею, на днях должен получить свой выигрыш.

Отец смекнул, что в голове у Тюрю что-то не ладно.

– Когда получишь деньги, тогда и сыграем, – ответил он, – а теперь некогда.

– Я вам дам расписку, если проиграю, и сейчас же уплачу, как получу деньги. Я честный человек, Яков Григорьевич.

– Верю, приходи в другой раз. Но Тюря не уходил и говорил:

– Я теперь проучен. Все деньги вам отдам на хранение, вы выдавайте мне проценты, а если я потребую у вас из капитала, гоните меня в шею.

Отец насилу выжил от себя Тюрю; он все твердил о миллионе злотых, которые выиграл. Скоро пришло известие, что Тюря уже сидит в сумасшедшем доме.

Артист Куликов написал о Тюре водевиль в трех актах под названием «Ворона в павлиньих перьях».

Однажды к отцу явился приезжий молодой белокурой купчик, очень красивый, почти такого же большого роста, как В. А. Каратыгин, но лучше сложенный. Этот молодой купчик из провинции бежал от богатых родителей, питая непреодолимую страсть к сцене. Он знал, что богобоязненный отец лишит его наследства, если он сделается актером, но не мог побороть своей страсти к сцене.

Купчик знал наизусть много монологов из ролей Каратыгина. Отец никому не отказывал в помощи поступить на сцену, если только это не была совершенная бездарность. Купчик обладал громким голосом и чуть ли не думал, что в этом только и заключается вся сила сценической игры. Отец, проходя с ним роль, которую купчик разучивал для своего дебюта, останавливал его, чтобы он не орал.

Мать была очень довольна, что готовится соперник на сцене Каратыгину. Она принимала большое участие в дебюте купчика, который, кажется, выбрал себе фамилию Мстиславского или Ростиславского, что-то в этом роде. Дебют Мстиславского удался, ему много аплодировала публика и два раза его вызвала. Театралы-купчики поддержали дебютанта. Мать торжествовала, потому что ей передавали, что Каратыгины от злости захворали.

На другой день явился к нам дебютант с необыкновенно гордым видом и передавал отцу, что его игру нашли лучше В. А. Каратыгина.

– Далеко кулику до Петрова дня! – отвечал отец. – Сначала поработай над собой, как работал Каратыгин, да и то, брат, не с твоими мозгами быть хорошим актером!

Мстиславский очень обиделся на отца. Дебютанта приняли на театр, благодаря хлопотам моей матери. Не знаю, как теперь, но прежде богатые купцы-театралы считали своею обязанностью спаивать молодых актеров. Мстиславский кутил с ними постоянно, вообразив, что учиться ему уже не нужно. Играл он очень редко; говорили, что В. А. Каратыгин сильно интриговал против него, что, при всей своей скупости, он сделал обед чиновникам, чтобы не давали тех трагедий, в которых играл Мстиславский.

О скупости Каратыгина постоянно ходили анекдоты за кулисами. Рассказывали, что Каратыгин из экономии никогда не надевал перчаток в роли Чацкого, а только держал их в руках, и одна пара служила ему 10 лет.

Не могу сказать, сколько времени Мстиславский находился на сцене, но что-то не долго. Он совершенно спился. Раз вечером мы сидели за чаем с тетками, отец и мать были в театре. Вдруг в комнату вошел Мстиславский.

У него было такое страшное лицо, что тетки перепугались.

– Я пришел взять ружье у Якова Григорьевича, – сказал он, ни с кем не поздоровавшись. – Вы, вероятно, уж знаете, что меня хотели отравить. Я трое суток ничего в рот не брал, так в рукомойник подсыпали яду... Теперь убить меня хотят, всюду за мной ходят убийцы. Сейчас явятся сюда, но я нарочно сюда пришел, чтобы взять ружье у Якова Григорьевича, и как только они появятся...

Мстиславский прицелился, будто держит ружье, гаркнул «Пиф-паф» и разразился диким смехом.

– Каратыгин останется с носом, пропадут его денежки, которые он дал убийцам.

Тетки и мы сидели в страхе. Когда Мстиславский пошел в кабинет, мы поспешили послать лакея в театр за отцом. Мстиславскому, вероятно, не удалось снять ружье со стены, Алмазка помешала, он вернулся в залу и расхаживал по комнате, читая монологи.

По счастью, был антракт, и отец приехал, в костюме. Он взял сумасшедшего с собой и сдал в полицейскую часть, которая находилась против нашего дома, в маленьком переулочке.

Мстиславский вскоре после этого умер.

Балетмейстера Дидло мать принимала с особенным почетом. Для него готовился всегда какой-то французский суп к обеду и покупалось дорогое белое вино. Дидло, несмотря на долгое пребывание в Петербурге, говорил плохо по-русски. Он был уже старик, худой, но необыкновенно подвижной. Нос у него был предлинный. Я всегда отыскивала сходство в людях с зверями или птицами, и Дидло, мне казалось, походил на дупеля. У Дидло были светлые, но сердитые глаза, он постоянно кусал свои тонкие губы, и его всегда нервно передергивало. Я его терпеть не могла, зная, что он бил воспитанниц и воспитанников в театральном училище. Когда они ехали на репетицию балета или шли на его урок, то крестились и молили Бога, чтобы не испробовать палки Дидло на своей спине и на носках.

В театральной школе воспитывались младшие сестры моей матери; мы часто ходили туда с тетками навещать их. Я видела, как девочки возвращались из класса танцев в слезах и показывали синяки на своих ногах и руках.

В это время Дидло уже не позволяли ставить свои балеты с полетами маленьких воспитанниц и воспитанников, потому что случались несчастья во время спектакля. Раз канаты лопнули, и бедные дети упали с значительной высоты, страшно ушиблись, а некоторые сломали себе – кто ногу, кто руку.

Дидло ужасно был смешон, когда стоял за кулисами и следил за танцовщицами и танцорами на сцене. Он перегибался, улыбался, семеня ногами и вдруг начинал злобно топтать такт ногой. А когда танцевали маленькие дети, то он грозил им кулаками, и беда им была, если они путались, составляя группы. Он набрасывался на них за кулисами, как коршун: кого схватит за волосы и теребит, кого за ухо, а если кто увертывался от него, то давал ногой пинки, так что девочка или мальчик отлетали далеко. И солисткам доставалось по окончании танца. При шуме рукоплесканий счастливая танцовщица убегала за кулисы, а тут Дидло хватал ее за плечи, тряс из всей силы, осыпал бранью и, дав ей тумака в спину, выталкивал опять на сцену, если ее вызывали.

Часто Дидло гонялся за кулисами за танцовщицей, которая из предосторожности убегала со сцены в противоположную сторону, где он стоял, и пряталась от него. Взбешенного Дидло отливали водой.

Когда пронесся слух, что Дидло выходит в отставку по неприятностям с Гедеоновым, то школьные его ученики, ученицы и кордебалет с нетерпением ждали того счастливого часа, когда простятся с ним и с его неразлучной падкой. Как хороший балетмейстер и учитель, Дидло

пользовался известностью; он привык к почету и не позволял никому вмешиваться в свою часть, а Гедеонов, с своей стороны, хотел доказать, что он полный властелин в театре и что никакие заслуги, никакой талант для него не существуют.

Моя мать сильно хлопотала, как бы поторжественнее устроить овацию Дидло в его прощальный бенефис. Я знала заранее всю программу оваций, которые будут сделаны Дидло, – сколько венков будет поднесено ему, какой будет прочитан адрес от почитателей его таланта и заслуг. Я знала, что все неучаствующие в балете танцоры и танцорки, даже те, кто уже был на пенсии, выведут его на сцену при первом вызове и т. п.

Я с сестрами, тетками и матерью сидела в ложе в день бенефиса Дидло. Не помню, который из его балетов шел. После первого акта стали вызывать Дидло; он вышел и за ним двинулась толпа танцоров и танцорок, весь кордебалет и все участвующие воспитанники и воспитанницы школы. При громе рукоплесканий Дидло подали из оркестра два большие венка и один маленький. Одна из солисток возложила его на голову Дидло. После прочтения адреса одним из молодых актеров, все на сцене стали прощаться со стариком. Целовали Дидло, обнимали, а дети-ученики целовали у него руки. Это для меня было неожиданным зрелищем. Аплодисментам и вызовам не было конца.

Моя мать пошла на сцену в антракте, и я последовала за ней; но там происходила другая сцена: Гедеонов кричал, что он всех оштрафует за то, как смели без его позволения выйти на сцену.

Мать крупно побранилась с Гедеоновым, и он ей сказал, что если б у нее не было детей, то он ее арестовал бы, но она ему отвечала со смехом:

«Попробуйте, Александр Михайлович, это сделать!»

Волнение за кулисами было страшное, когда Гедеонов отдал приказание, чтоб никто не смел выходить на сцену, когда будут вызывать Дидло; но его не послушались: танцоры и танцорки на пенсии выводили Дидло; да они и были старику необходимы, потому что он так ослабел от волнения, что его надо было поддерживать.

В моем детстве артистам не подносили ни букетов, ни венков, ни подарков. На другой день после бенефиса от государя присылался подарок на дом: первым артистам – бриллиантовый перстень, артисткам – серьги или фермуар.

Моду подносить букеты и подарки ввели иностранные танцовщицы, появившиеся на петербургской сцене. Хотя обыкновенно говорят, что публика поднесла артистке подарок или букеты, но публика тут ни при чем. Инициатива всегда идет от одного лица, – друга артиста, его родственников, или от обожателя артистки. Если последний небогат, то им собирается подписка на подарок за целый месяц до бенефиса артистки. За кулисами отлично знают, от какого лица получен подарок и цветы в день бенефиса артиста или артистки.

Всем заранее было известно, что один артист получит в свой бенефис два венка и два букета от своих родственников и что в его уборной широкие ленты снимутся и аккуратно сложатся, чтобы их за полцены отвезти в лавку Гостиного двора, где они были куплены; все же экономия для родственников! Один артист сам себе докупал венки и раздавал своим друзьям, чтоб они ему их подносили в бенефис.

Публика очень любит присутствовать при поднесениях цветов и подарков артистам и щедра бывает на аплодисменты. Я никогда не видала такого обилия цветов, каким была заброшена танцовщица Смирнова.

Она была одного выпуска с Андреяновой, которой театральные балетоманы постоянно страшно шикали.

Это было их мщение Гедеонову, который особенно был расположен к Андреяновой. На Гедеонова были злы молодые зрители первых рядов кресел за то, что он принял строгие меры к недопущению их стоять у театрального подъезда, когда после спектакля воспитанницы сажались в кареты и переговаривались с ними. Гедеонов дал приказание своим чиновникам сопро-

вождать кареты воспитанниц до школы, чтобы они не могли из окон говорить с своими обожателями, ехавшими рядом. Чиновников обожатели оттискивали от окон кареты, а одного чиновника, более ревностного, вывалили из дрожек в грязь. После этого одно время кареты воспитанниц сопровождали конные жандармы.

У Смирновой была сильная партия. М. Л. Невахович – карикатурист – содержал ее, а потом женился на ней. Этот Невахович чуть ли не первый начал издавать еженедельные листы карикатур, под заглавием «Ералаш». Неваховичей было два брата и они имели большой капитал, но очень скоро его прожили. Старший брат был женат на русской певице, я забыла ее фамилию; когда он был женихом, то рвал сторублевые ассигнации ей на папильотки. Прожив все деньги, старший Невахович сделался театральным чиновником. Он был гораздо старше своего брата карикатуриста, и до его совершеннолетия успел прожить большую часть и его денег.

Чуть не в каждом номере «Ералаша» в карикатурах фигурировал Гедеонов, театральные чиновники, в том числе брат Невахович, и Андреянова. Невахович был остроумен и иногда подбирал очень удачные подписи под карикатурами. Все молодые балетоманы примкнули к Невахович. Раз шел балет, где Андреянова танцевала первую, а Смирнова незначительную роль.

Молодежь из партии Невахович узнала, приехав в спектакль, что театральные чиновники приготовили Андреяновой букет. Сейчас же запаслись букетом и для Смирновой; чиновники, проведав это, купили еще другой. Тогда партия Невахович, соблюдая все предосторожности, чтобы не проведали чиновники, запаслась двумя платяными корзинами цветов, заняла две литерные ложи вверху, а всех знакомых, кто сидел в боковых ложах, просила бросать букеты Смирновой. Партия Смирновой торжествовала, шуму в партере было много.

Как танцовщица, Андреянова была лучше Смирновой, потому что танцевала с одушевлением и наружность имела красивее. Смирнова же была безжизненная и очень некрасива. Благодаря враждебным отношениям партии, обе они сделались выдающимися танцовщицами; без этого их сценическое поприще было бы очень скромное.

Заговорив о балете, кстати упомяну и о танцовщице Истоминой, ученице старика Дидло, о которой Пушкин упоминает с восторгом в «Евгении Онегине».

Я видела К. И. Истомину уже тяжеловесной растолстевшей, пожилой женщиной. Желая казаться моложавой, она была всегда набелена и нарумянена. Волосы у нее были черные, как смоль; говорили, что она их красит. Глаза у Истоминой были большие, черные и блестящие. У нас она прежде не бывала, но теперь приехала просить отца приготовить к дебюту воспитанника Годунова, рослого, широкоплечего, с туповатым выражением лица юношу. Она покровительствовала ему.

Постом, в театральной школе, перед выпуском, устраивались спектакли для выпускных воспитанников, в присутствии Гедеонова, чиновников и родственников играющих воспитанников и воспитанниц. Давалось по одному акту трагедий, опер и водевилей. Истомина выхлопотала, чтобы Годунову дали роль в трагедии для того, чтобы при выпуске он мог получить побольше жалованья.

Отец прямо сказал Истоминой, что Годунов самый бездарный юноша. Истомина не поверила и обратилась к В. А. Каратыгину. Не знаю, правда ли, будто Каратыгин получил от Истоминой значительный подарок за свои занятия с Годуновым. Отец никогда не брал денег ни с кого, кто обращался к нему с просьбой подготовить к сцене; все это знали, и никто не смел делать ему подарки.

Годунова выпустили из школы с окладом жалованья наравне с талантливыми воспитанниками: Истомина не жалела денег на подарки чиновникам.

Вскоре после этого Истомина вышла замуж за Годунова, и он быстро растолстел. Его лицо лоснилось от жиру. Когда он сидел в ложе со своей супругой, то самодовольно на всех

посматривал, потому что сиял бриллиантами: шарф у него был заколот бриллиантовой булавкой, на рубашке и даже на жилете пуговицы были бриллиантовые. Он не надевал перчатку на ту руку, на пальце которой было надето кольцо с большим бриллиантом. Но не долго Истомина наслаждалась своим поздним супружеским счастьем; ее здоровяк-муж схватил тиф и умер. Неутешная вдовица воздвигла дорогой памятник во цвете лет умершему супругу и даже собиралась поступить в монахини.

Случилось похищение выпускной воспитанницы Кох из театральной школы. Смятение было ужасное. Она исчезла во время ужина, отказавшись от него под предлогом головной боли, и осталась одна в дортуаре. Директор, инспектор школы, все театральные чиновники, старушка-директриса, все классные дамы – пришли в ужас, потому что всем было известно, что Кох обратила на себя внимание очень важной особы.

Однако все благополучно выпутались из этой истории. Остались виновными только безгласная старушка-директриса да сторож у ворот. Их отставили от службы. Похититель долго укрывал Кох в своих имениях, несмотря на строжайшее приказание государя Николая Павловича разыскать и его, и похищенную. Наконец, похитителя нашли – это был князь Вяземский. Его посадили в крепость. Какое наказание постигло Кох – не знаю.

П. С. Федоров, водевилист, до похищения Кох был незначительным чиновником при театре. Он сочинил юмористические куплеты, положил их на музыку и пел у нас. После каждого куплета повторялось: «Ох, убежала Кох». Он так ловко подстроил, что начальство не подозревало, что он сочинитель этих куплетов, а приписывало их одному театралу. В этих куплетах упоминалось все театральное начальство.

Театральная школа находилась через дом от нас, на Екатерининском канале. Влюбленные в воспитанниц каждый день прохаживались бесчисленное число раз по набережной канала, мимо окон школы. Воспитанницы помещались в третьем этаже, а воспитанники во втором. До похищения Кох не было таких строгостей в школе, как потом. Воспитанницы постоянно смотрели в окна и вели счет, сколько раз пройдет обожатель, и мера влюбленности считалась числом прогулок мимо окон.

Пушкин тоже был влюблен в одну из воспитанниц-танцорок и также прохаживался одну весну мимо окон школы и всегда проходил по маленькому переулку, куда выходила часть нашей квартиры, и тоже поглядывал на наши окна, где всегда сидели тетки за шитьем. Они были молоденькие, недурны собой. Я подметила, что тетki всегда волновались, завидя Пушкина, и краснели, когда он смотрел на них. Я старалась заранее встать к окну, чтобы посмотреть на Пушкина. Тогда была мода носить испанские плащи, и Пушкин ходил в таком плаще, закинув одну полу на плечо.

Не могу определенно сказать, сколько времени прошло после того, как прогуливался Пушкин мимо наших окон; но, однажды, в театре, сидела я в ложе с сестрами и братьями и с одной из теток. Почти к последнему акту в соседнюю ложу, где сидели две дамы и старичок, вошел курчавый, бледный и худощавый мужчина. Я сейчас же заметила, что у него на одном пальце надето что-то вроде золотого наперстка. Это меня заинтересовало. Мне казалось, что его лицо мне знакомо. Курчавый господин зевал, потягивался и не смотрел на сцену, а глядел больше на ложи, отвечал нехотя, когда с ним заговаривали дамы по-французски. Вдруг я припомнила, где я его видела, и, дернув тетку за рукав, шепнула ей: «сзади нас сидит Пушкин». Я потому его не сразу узнала, что никогда не видела его без шляпы. Но Пушкин скоро ушел изложи. Более мне не удалось его видеть. Уже взрослой я узнала значение золотого наперстка на его пальце. Он отрастил себе большой ноготь и, чтоб последний не сломался, надевал золотой футляр.

Актер А. М. Максимов был в последнем классе театральной школы и ходил к отцу учиться дикции. Отец его отучал растягивать слова и говорить в нос. Он скоро приобрел расположение публики, играя в водевилях.

Я помню, что, когда ставили «Ревизора», все участвующие артисты как-то потерялись: они чувствовали, что типы, выведенные Гоголем в пьесе, новы для них, и что эту пьесу нельзя так играть, как они привыкли разыгрывать на сцене свои роли в переделанных на русские нравы французских водевилей.

После смерти Н. О. Дюра, Максимова дали роль Хлестакова; он явился к отцу, чтобы тот его прослушал.

Когда Максимов прочел свою роль, отец сказал ему:

– В глупом водевиле кривлянье не хорошо, а в такой комедии актера надо высечь. Ты запомни это.

Максимов в молодости был бы недурен собой, если б его лица не портил большой рот и скверные зубы. Говорили, что у него чахотка, когда он еще был в школе; но ошиблись. Максимов смолodu очень кутил с богатыми своими приятелями-театралами, но прожил долго. Женился он на танцовщице Аполинской или Полинской, как только ее выпустили из школы, и получил за ней приданое, выданное ей от дирекции театра, – 40 тысяч. Впрочем, не могу наверно определить цифру. Эти выдачи приданого достались только двум танцовщицам: той, на которой женился В. В. Самойлов, и жене Максимова. Такое счастье, впрочем, обуславливалось особыми причинами.... Прочие артисты, женившиеся на воспитанницах театральной школы, не получали даже пособия на свои свадьбы.

Две танцовщицы, награжденные приданым, не были выдающимися артистками, но пользовались большими привилегиями при театре и получали хороший оклад жалованья. Хотя после замужества они редко появлялись на сцене, а потом и совсем не танцевали, но жалованье все-таки получали.

Певца О. А. Петрова я помню, как только он приехал в Петербург в начале тридцатых годов. Он ходил к нам в это время каждый день обедать, пил чай и ужинал. Он учился дикции у отца. Петров много работал, чтобы уничтожить малороссийский акцент в своем выговоре. Он учился петь у Кавоса, который преподавал пение в театральной школе. Говорили, что Петров был певчим у какого-то архиерея в Малороссии.

Петров был коренастый, плечи у него были очень широкие, большая голова с густыми черными волосами.

Он был очень смуглый и походил на цыгана. Говорил он очень скоро, за что не раз доставалась ему головомойка от отца, когда Петров читал стихи или прозу.

– Зарубил!.. Слушая тебя, можно подумать, что капусту рубят в комнате. Мягче выговаривай слова и медленнее, придерживай свой язык, а то он у тебя вертится во рту, точно спущенный волчок.

Кто помнит певца Петрова, знает хорошо, что в его пении было явственно слышно каждое слово. Все, кого учил отец дикции, имели ясный выговор. Он следовал методу князя Шаховского, который выходил из себя, если актер или актриса неявственно выговаривали слова. При уроках дикции отец всегда добивался поставить правильно голоса, какими обладали его ученики; иногда доводил их до слез; начнет читать ученица, он ее останавливает:

– Пищишь! Сначала!.. Низко взяла!

– Яков Григорьевич! – жалобно говорит ученица. – Да я не могу-с иначе читать.

– Врешь! Когда говоришь, так голос у тебя другой! Отец сердился, когда в монологе перевирали слова.

– Смей только перевирать слова и поправляться! Никуда не будешь годен, войдет в привычку, пропадешь! Такое брякнешь на сцене, что жизни не будешь рад. Выучи так монолог, чтобы ни на одном слове не заикнуться, а где запинаешься, так сто раз прочитай одно и то же!

Бывали такие несчастные актеры и актрисы, что постоянно перевирали слова, даже целые фразы, и в самых трагических местах своей роли, как например: «я теперь покоен, ключи заперты и двери в кармане» или, как в «Горе от ума» лакей докладывает: «карета в барыне и

гневаться изволит». Дюр в какой-то драме изображая королеву, долженствующую подписать смертный приговор, произнесла: «подайте мне чиро и пило» вместо чернил и перо.

Комика Н. О. Дюра я помню с самого раннего детства. Он был высокого роста, очень худой, слегка рябоватый, с светлыми белокурыми волосами, с такими же бровями. В юных годах его считали недолговечным, находя, что у него чахотка. Ему было уже лет 35, а может быть и более, когда он влюбился в воспитанницу Театральной школы, танцовщицу Новицкую, красавицу собой. Как танцовщица, она не особенно была хороша, да и ее высокий рост не шел к этому искусству. Красоту ее портил бескровный цвет лица. Тогда еще не обращали внимания на малокровие; страдающих этою болезнью не лечили, а приписывали бледность признакам чахотки. В Петербурге была порядочная немецкая оперная труппа, в которой особенно выделялся тенор Голанд. На немецкой сцене поставлена была опера «Фенелла», и воспитаннице Новицкой дали роль Фенеллы. Она так была красива в роли немой и так хорошо играла, что у нее явилось множество поклонников в первых рядах кресел, из блестящих молодых людей.

Государь часто в антрактах приходил на сцену разговаривать с артистами и всякий раз обращал внимание на воспитанницу Новицкую. Когда государь бывал на сцене, – за кулисами водворялась полнейшая тишина, по сцене никто не ходил, везде стояли чиновники, наблюдая, чтобы кто-нибудь по нечаянности не выскочил на сцену. Министр двора и Гедеонов стояли в почтительном расстоянии, наготове, если государь пожелает сделать какой-нибудь вопрос. Наконец, государю надоела эта гробовая тишина за кулисами и на сцене, и он отдал приказание, чтобы никогда не стеснялись его присутствия, и все делали бы свое дело. Надо было видеть, как суетились чиновники, чтобы, например, плотники, таща кулису, не задели государя, как все артистки расхаживали по сцене в надежде, что их осчастливит государь своим вниманием. Чтобы не задерживать публику, государь приказал Гедеонову докладывать ему, когда все готово для поднятия занавеса, и немедленно уходил в свою ложу.

Красавицу Новицкую выдали замуж за Дюра. Это произвело страшный переполох. Все танцовщицы считали Новицкую необыкновенной дурой, потому что ей представлялась блестящая карьера жить в роскоши и обеспечить себя капиталом.

Воспитанницы Театральной школы были тогда пропитаны традициями своих предшественниц и заботились постоянно заготовить себе, еще находясь в школе, богатого поклонника, чтобы при выходе из школы прямо сесть в свою карету и ехать на заготовленную квартиру с приданным бельем и богатым туалетом.

Поклонники Новицкой были озлоблены на нее, что она вышла замуж за актера. Когда ей пришлось в первый раз выходить на сцену после замужества, она очень боялась, потому что за кулисами распространились слухи, что ей будут шикать. Дюр старался ободрять жену перед выходом на сцену, но сам был в страшном волнении. Присутствие государя в театре, вероятно, помешало демонстрации озлобленных ее поклонников. Они ограничились тем, что не аплодировали ей, тогда как прежде до неистовства хлопали и ладоши при ее появлении и в продолжение всего спектакля.

Дюру было не мало тревог и забот с красавицей молоденькой женой. Дома он должен был умолять ее на коленях, чтобы она, как встанет, съела бы бифштекс и выпила бы стакан портеру, по предписанию доктора. Он боялся, чтобы у жены не развилась чахотка. За кулисами он должен был следить, чтобы ей не попало в руки письмо с объяснением в любви и блестящими предложениями от богачей. Он сам возил ее на репетиции, и когда она ленилась делать упражнения, то уговаривал ее, как ребенка, кормил леденцами, заранее запасенными в кармане. Он был мученик, когда не мог сопровождать свою молоденькую жену в театр, потому что сам был занят в другом театре. За заботы о здоровье жены Дюр был вознагражден: малокровие ее пропало, и на щеках появился нежный румянец, что еще более придавало красоты ее лицу. По мере того как жена полнела, муж чах и умер в чахотке.

Дюр осталась молодой вдовой с малолетней дочерью. Она ленилась упражняться в танцах и стала играть в балетах только роли матерей, и должна была гримировать свое красивое лицо морщинами. Она перешла на драматическое амплуа и пользовалась покровительством Гедеонова. Как актриса, она была не особенно выдающаяся, но выигрывала много мимикой своего красивого лица. К тридцати годам Дюр необычайно растолстела, но лицо оставалось красивым, а дослужив до пенсии и оставя сцену, она сделалась толстой уже до безобразия. Дюр скопила себе капиталец и вышла замуж за чиновника, с которым соединилась раньше гражданским браком. Но этот чиновник был картежник и проиграл ее капитал, дачу, даже заложил все ее бриллианты, да еще растратил казенные деньги. Это так подействовало на Дюр, что она слегла в постель, долго прохворала и умерла.

Известно, что в первую холеру, в 1831 году, среди народа распространились нелепые слухи, будто его отравляют поляки, будто все доктора подкуплены ими, чтобы в больницах морить людей. Я видела с балкона, как на Офицерской улице, в мелочной лавке, поймали отравителя и расправлялись с ним на улице. Как только лавочник, выскочив на улицу, закричал: «отравитель!» – мигом образовалась толпа и несчастного выволокли на улицу. Отец побежал спасать его. Лавочники и многие другие знали хорошо отца, и он едва уговорил толпу отвести лучше отравителя в полицию, и пошел сам с толпой в часть, которая находилась в маленьком переулочке против нашего дома. Фигура у несчастного «отравителя» была самая жалкая, платье на нем изорвано, лицо в крови, волосы всклокочены, его подталкивали в спину и в бока; сам он уже не мог идти.

Это был бедный чиновник. Навлек на него подозрение кисель, которым он думал угостить своих детей. Идя со службы, он купил фунт картофельной муки и положил сверток в карман шинели; вспомнив, что забыл купить сахару, он зашел в мелочную лавку, купил полфунта сахару, сунул его в карман, бумага с картофельной мукой разорвалась и запачкала ему его руку. Лавочники, увидав это, и заорали: «отравитель!».

Описанный случай был прелюдией народного волнения на Сенной площади, которое произошло через несколько дней. Часов в 6 вечера вдруг по улице стал бежать народ, крича: «на Сенную!» Как теперь, вижу рослого мужика, с расстегнутым воротом рубашки, засученными рукавами, поднявшего свои кулачища и кричавшего на всю улицу: «Ребята, всех докторов избьем!» «На Сенную, на Сенную!» – раздавались крики бежавших. Очевидцы рассказывают, что докторов стаскивали с дрожек и избивали до смерти.

Улицы и без того были пустынно в холеру, но после катастрофы на Сенной сделалось еще пустынее. Все боялись выходить, чтобы их не приняли за докторов и не учинили бы расправу.

У нас по всем комнатам стояли плошки с дегтем и по несколько раз в день курили можжевеловым. В нашей семье никто не захворал холерой. Каждый день наша прислуга сообщала нам ходившие в народе слухи, один нелепее другого: то будто вышел приказ, чтобы в каждом доме заготовить несколько гробов, и, как только кто захворает холерой, то сейчас же давать знать полиции, которая должна положить больного в гроб, заколотить крышку и прямо везти на кладбище, потому что холера тотчас же прекратится от этой меры. А то выдавали за достоверное, что каждое утро и вечер во все квартиры будет являться доктор, чтобы осматривать всех живущих; если кто и здоров, но доктору покажется больным, то его сейчас же посадят в закрытую фуру и увезут в больницу под конвоем.

Нелепейших предосторожностей от холеры было множество. Находились такие субъекты, которые намазывали себе все тело жиром кошки; у всех стояли настойки из красного перца. Пили деготь. Один господин каждый день пил по рюмке бычачьей крови.

Глава 2. Самойловы – Мартынов – Тальони – Андреевна

Еще девочкой я слышала В. В. Самойлова, когда он пел в опере «Волшебный стрелок» вместе со своим отцом. Первоначально молодой Самойлов поступил на сцену певцом. Все семейство Самойловых я знала начиная с их отца, матери, взрослых их дочерей сыновей и кончая маленькой девочкой, которая была одних лет со мной, или немного помоложе меня. Старшие дочери старика Самойлова ходили в гости к теткам, а с младшими я виделась в клубном немецком саду, который на летний сезон помещался на Мойке, близ Поцелуева моста, в доме разорившегося Альбрехта, выстроившего для себя дом с разными барскими затеями: с манежем, с оранжереями и большим садом. Экономные распорядители немецкого клуба за плату на все лето пускали детей гулять только до 7 часов вечера, потому что потом собирались члены, играли в кегли и в карты.

Старший сын старика Самойлова был уже чиновником и членом клуба; он любил разговаривать со мной, кормил сладкими пирожками и защищал меня и братьев перед распорядителями клуба, которым садовник приносил жалобы на нас, что мы лазаем по крыше беседки, по заборам, таскаем яблоки с деревьев. Его две младшие сестры также приходили в сад гулять. Надежда Васильевна была уже подросток, очень бойкая, и постоянно говорила, как она поступит на сцену и какие будет играть роли. Вера Васильевна была очень молчаливая девочка, не любила бегать и все сидела на одном месте.

В сад ходила гулять и дочь актрисы Асенковой. Она была лет 14, казалась взрослой, но любила еще побегать, и мы с ней до упаду бегали вперегонки. Асенкова была очень хорошенькая, и я гордилась, что большая девочка и такая хорошенькая не пренебрегает мной.

Двух Самойловых и Асенкову мне пришлось видеть впоследствии на сцене. Надежда Васильевна Самойлова и Варвара Николаевна Асенкова были на одном амплуа. Обе были хорошие водевильные актрисы. Гуляя девочками в саду и разговаривая между собой, они тогда, конечно, и не думали, что наступит время, когда между ними возникнет непримиримая вражда. Самая младшая сестра, Вера Васильевна Самойлова, поступила на сцену на драматические роли в 1842 году, была красива собой, высокого роста, с изящными манерами, и как актриса – была талантливее своих сестер. Самая старшая сестра, Мария Васильевна Самойлова, пробыла недолго на сцене и вышла замуж. Из семейства старика Самойлова на сцене были три дочери и один сын. Надо заметить, что старики Самойловы очень заботились о воспитании своих детей. Девочек отдавали в хорошие пансионаты, а мальчиков в разные заведения. В. В. Самойлов случайно попал на сцену, он был горный офицер. За кулисами ходили слухи, что он имел какую-то неприятную историю на одном общественном собрании в провинциальном городе, где служил, и вследствие этого снял мундир, приехал к отцу и поступил на сцену.

Вера Васильевна Самойлова покинула сцену скоро, несмотря на то, что ее игру публика очень ценила. Даже государь Николай Павлович одно время каждый раз бывал в театре, когда она играла, и часто в антрактах выходил на сцену и разговаривал с ней. Но А. М. Геденов невзлюбил Веру Васильевну. Она держала себя с ним гордо. Закулисные сплетни раздували неприязнь, и разные чиновники, разумеется, доносили Геденову о каждом слове, сказанном о нем В. В. Самойловой.

Контракт ее с дирекцией кончался, и надо было возобновлять его, но Геденову этого не хотелось, и он, что называется, допекал ее не мытьем, так катаньем. Самойлова потребовала новый лиф к бархатному платью для одной роли. Это такой пустяк, о котором никогда не докладывают директору, а тут услужливые чиновники доложили ему. Геденов велел ей ответить, что «и старый хорош для нее». На репетиции В. В. Самойлова объявила, что не выйдет на

сцену в старом лифе. Сшить лиф можно было в несколько часов, тем более, что бархатное платье Самойлова должна была надеть в последнем акте. Гедеонову нужно было, чтобы государь присутствовал в театре, когда Вера Васильевна исполнит свое слово и не выйдет на сцену. Он назначил танцевать в дивертисмент тех воспитанниц, которых государь любил видеть. Государь, точно, приехал в театр, но к последнему акту драмы. В то время за кулисами уже происходила история. Вера Васильевна сидела в уборной и не надевала старого лифа. Антракт затянулся. Государь послал узнать, почему не поднимают занавес. Гедеонов явился в ложу государя и доложил, что Самойлова не хочет одеваться, потому что ей не сделали нового бархатного платья, что она предъявляет такие невероятные требования по своему гардеробу, которые влекут страшные расходы.

– Скажи, что я приказываю ей выйти на сцену, – ответил государь.

Гедеонов, торжествуя, передал волю государя Самойловой. Конечно, она поспешила выйти на сцену. Если бы она знала, что государь приехал в театр, то, разумеется, не стала бы входить в препирательства с Гедеоновым. После этого спектакля она сама не захотела возобновить условия с дирекцией и, покинув сцену, вышла замуж.

Смерть отца Самойловых была очень трагическая. В 1839 г. он поехал с приятелями на лодке под парусами на петергофский праздник. Железных дорог тогда не было, не знаю, ходили ли тогда частные пароходы из Петербурга в Петергоф. Все, желающие посмотреть иллюминацию в Петергофе, отправлялись в экипажах или на лодках. В шесть часов вечера неожиданно разыгралась страшная буря; много лодок погибло на взморье и в том числе лодка со стариком Самойловым.

От Александрийского театра к Чернышеву мосту строился ряд домов, в которых должна была поместиться вся административная часть театра, театральная школа и квартиры артистам. Первоначальный фасад домов предполагался по плану Пале-Рояля в Париже. С двух сторон шли арки, а в глубине их должны были находиться помещения для кофейных и для магазинов. Государь изменил план, найдя близкое соседство магазинов и кофейных со школой невозможным. Арки заделали и превратили их в жилые комнаты, в которых устроили гардеробную и разные другие помещения; над арками поместили воспитанников, а в верхнем этаже – воспитанниц. Во дворе выстроены были большие флигеля для квартир артистов. Но в это время театральные чиновники так размножились, что заняли лучшие квартиры, а для артистов остались маленькие квартиры, да и то, чтобы получить артисту или артистке квартиру, надо было иметь покровительство какого-нибудь чиновника. Отец переехал на частную квартиру.

Власть свою чиновники распространили на все; в театральной школе не оказывалось вакансий для детей бедных артистов, потому что чиновники их замещали детьми своих знакомых и тех артистов, которые делали им подарки. Чтобы дать место в школе своим протеже, чиновники придумали перед приемом детей выключать за бездарность уже взрослых воспитанников и воспитанниц, пробывших в школе несколько лет. Эти исключения были нововведением. По прежним театральным правилам, воспитанники при выпуске, если оказывались бездарными, назначались в статисты или поступали в хоры. Но и в хорах было набрано с воли множество народу. Были такие хористки, которые ни слова не знали по-русски, не понимали нот и не имели никакого голоса, а на сцене только разевали рот.

Так как к нам часто ходили играть в карты чиновники, имевшие власть, то я слышала от них, какие жертвы ими намечены для исключения. В числе этих жертв попался и воспитанник А. Е. Мартынов, которому оставалось еще год до выпуска. Мне его было очень жаль; я знала, что за него некому было заступиться.

Программа наук в школе была хорошая, но учение было плохое, так что исключенный воспитанник не мог себе найти заработка. Других театров, кроме императорских, тогда не допускалось.

Мне потому было жаль Мартынова, что он очень меня смешил, когда я стояла за кулисами во время спектакля, а он, находясь в той же кулисе, с своими товарищами, передразнивал всех артистов, которые в это время говорили на сцене: Толченова, Каратыгина, моего отца и др. Иногда Мартынов вдруг придавал своему лицу такое комическое выражение, что его товарищи бежали из-за кулисы, будучи не в силах удерживаться от смеха. Мартынов был худенький, небольшого роста, с светло-белокурыми волосами и слегка вздернутым носиком.

Наступила масленица – страда артистов. Спектакли шли утром и вечером. Водевиль в двух актах «Филатка и Мирошка» делал большие сборы; по масленичному недельному репертуару его назначили давать под конец спектакля утром и вечером. Сюжет его был из народного быта: дурачок Филатка идет в солдаты за своего брата, сначала он очень трусит, но потом храбрится. Роль Филатки всегда играл А. В. Воротников, публика его очень любила и была снисходительна к нему, когда он зачастую в последнее время выходил на сцену, едва держась на ногах.

На первых днях масленицы государь Николай Павлович привез на утренний спектакль своих детей. Государь сидел в боковой царской ложе, и я стояла за кулисами против царской ложи. Только что начали последний акт пьесы, после которой должен был пойти «Филатка и Мирошка», вдруг сделалась суэта за кулисами, все передавали что-то друг другу, чиновники бегали с потерянными видами. Оказалось, что Воротников не явился еще в театр. После розысков по трактирам, его привезли в театр, но в бесчувственном состоянии. Окачивали его холодной водой, но он не отрезвлялся. Надо было доложить директору. Я как раз стояла у кулисы, где из ложи директора устроен выход на сцену. Гедеонов прибежал впопыхах и жалобно произносил:

– Зарезали, злодеи! Не могли позаботиться заранее, все ли в сборе к последней пьесе. Я вас всех! Господи, что мне делать?

Все это Гедеонов говорил вполголоса, потому что на сцене шла пьеса.

– Я знаю роль Филатки... позвольте, я сыграю! – неожиданно для всех сказал Мартынов, подойдя к директору, который сначала шепотом выругал его «дурак», но потом, как бы вспомнив с ужасом, что «Филатка и Мирошка» не может идти, приказал Мартынову отправиться за собой в фойе, чтобы посмотреть – может ли он хоть кое-как сыграть Филатку. Из фойе директор вышел веселый и сказал подчиненным, которые за ним следовали:

– Может сыграть! Вот счастье! Что бы было без него!.. Одевайте его скорей.

Когда занавес опустился, Мартынов уже был на сцене, в пестрядиной рубахе, в лаптях и в белобрисом трепаном парике. Все с изумлением глядели на смельчака. Анонс сделали при поднятии занавеса. Мне было страшно за Мартынова, но я успокоилась, когда он начал играть. Он был так естественно комичен, изображая дураковатого парня, что царские дети заливались смехом. Государь тоже улыбался. За кулисами была тишина, все напряженно следили за импровизованным дебютантом.

Когда окончилась пьеса, то из царской ложи раздались детские голоса: «Мартынова, Мартынова!» Публика так-же кричала: «Мартынова!»

Успех дебютанта был полнейший, и Мартынов всю масленицу играл Филатку, потому что Воротников слег в постель, вероятно, простудившись от усердного окачивания холодной водой, когда его старались отрезвить. Болезнь Воротникова спасла Мартынова от исключения из театральной школы. Но чиновники все-таки считали себя компетентными судьями и назначили Мартынову при выпуске самое грошовой жалованье, как бездарному артисту, и не давали ему хороших ролей, выпуская его на сцену только на выходных ролях. Но после смерти Воротникова (1840) не было комика, и поневоле пришлось заменить его Мартыновым. С ним поступали безбожно, заставляя его играть без отдыха зараз в трех водевилях, а иногда он скакал из Александрийского театра в Большой, чтобы сыграть в четвертом. Жалованья ему не прибавляли; он получил вчетверо менее, чем какая-нибудь бездарная актриса.

Мартынов очень скоро сделался любимцем публики, она всегда встречала его аплодисментами, что вызывало зависть к нему за кулисами. Я видела раз, как государь громко смеялся, смотря какой-то водевиль, где играл Мартынов; это очень редко случалось с государем.

Мартынов долго бедствовал, особенно когда сделался семейным человеком. Он не способен был, как другие актеры, заискивать расположение богатых театралов-купцов, которые давали денежные вспомоществования актерам. Некоторые артисты даже умели выпрашивать у них себе деньги на покупку дома. Имеющие власть чиновники покровительствовали тем артистам, которые в их именины и в новый год подносили им ценные подарки. В эти дни на квартиру такого чиновника, с черной и парадной лестницы, являлось множество поздравителей с приношениями. Мартынову из своего маленького жалованья трудно было делать подарки тем, от кого зависела прибавка жалованья. Только под конец его 25-летней службы уравнили его жалованье с товарищами, да и то дали ему менее разовых, хотя он, играя в один вечер в трех пьесах, получал менее, чем другой артист получал разовые за одну им сыгранную роль в водевиле. Эти разовые придуманы были директором для того, чтобы не увеличивать жалованья, которое назначалось артисту не свыше 4-х тысяч ассигнациями в год; это жалованье шло потом в пенсию за 25 лет службы на театре. Гедеонов накинул еще два года до получения пенсии; эти два года назывались «благодарностью». Бенефиса Мартынову тоже долго не давали, тогда как многие товарищи уже получили его.

Здоровье Мартынова очень расстроилось в последние годы, да и как было не расстроиться ему, когда он проводил целые дни в театре: утром на репетиции, а вечером на спектакле. Летом играл в Петергофском или Каменноостровском театрах.

Комедии Островского дали возможность Мартынову показать, насколько он был талантливый артист, потому что, играя в пустых водевилях, он не мог вполне высказать свой талант.

Я была на первом представлении «Грозы» Островского. Мартынов так сыграл свою роль, что дух замирал от каждого его слова в последней сцене, когда он бросился к трупу своей жены, вытасченной из воды. Все зрители были потрясены его игрой. В «Грозе» Мартынов показал, что обладает также замечательным трагическим талантом. В конце мая 1860 года Мартынов взял отпуск на лето, чтобы ехать лечиться на юг, потому что у него стала быстро развиваться чахотка. Островский отправлялся вместе с ним. Мартынов приехал проститься к Панаеву и долго просидел у нас. Он возлагал большие надежды на поправление своего здоровья от отдыха и южного климата, но его худоба, кашель и зловещий румянец на щеках пугали меня.

– Мне необходим отдых! – говорил он. – Вы не можете себе представить, до чего я устал; мне теперь очень трудно выучить роль, тогда как прежде бывало, прочитаешь раза два свою роль – и готово! Притупил совершенно свою память в продолжение двух десятков лет заучиванием массы глупейших ролей. Я дошел в последнее время до того, что начну играть на сцене, и вдруг чувствую, что у меня в голове перепутались роли, я начинаю импровизировать и только благодаря хорошему суфлеру, который подавал реплики, я не сбивал других, и дело сходило с рук.

Надо заметить, что чиновники знали отлично, почему Мартынов сбивался на сцене в своей роли, но распускали слух, что он постоянно в пьяном виде выходил на сцену.

– Из-за меня ни разу не было перемен спектакля, – рассказывал Мартынов, – а зачастую приедешь вечером в театр, оказывается перемена спектакля по болезни кого-нибудь, и тебя заставляют играть в пьесе, которая давно не была на репертуаре. Почему-то я постоянно был не в милости у начальства. Все оскорбления, какие я перенес от него, может вынести только человек, испытавший их со школьной скамейки. Раз мне нездоровилось, я послал сказать, что не могу играть вечером, так мне преподнесли такого рода приказание: чтобы я отрезвился и был бы в театре вечером, а иначе у меня сделают вычет из жалованья за два месяца. Нечего делать – играл, нельзя же заставить голодать свое семейство два месяца! Или вот проделал Гедеонов со мной такого рода штуку. Приехали мы в Петергоф играть, подали обед всем арти-

стам во дворце. Выходит директор и отдает приказание придворным лакеям, чтобы мне не давали вина за обедом, а дали бы только за ужином.

При этих словах яркий румянец вспыхнул на щеках у Мартынова, он закашлялся и опять продолжал, обращаясь ко мне:

– Вы хотя были девочкой, но, вероятно, помните, что чиновники прежде не имели такой власти над артистами. . . Осталось предание при театре, как ваш отец, в своей молодости, хотел проучить директора Тюфякина, который вздумал разговаривать с ним на «ты». Тюфякин спрятался в ложе, когда ваш отец побежал за ним. Как только ваш отец заявил, что он оставляет сцену, то несколько артистов тоже объявили, что не желают оставаться при таком директоре. Тюфякин при всех артистах извинился перед вашим отцом и сделался вежлив. А теперь! Артисты только и думают о том, как бы подслужиться чиновникам, и если видят, что они кого-нибудь невзлюбили, так в угоду им наплетут всякую всячину на своего товарища. Если такие порядки будут продолжаться при театре, то русская сцена придет в упадок. Даровитые артисты долго на ней не прослужат – сбегут!.. Я теперь жить не могу без сцены, а прежде бывали минуты, что приходила в голову мысль: уйти со сцены не могу, обязан быть на ней 25 лет, не наложить ли уж руки на себя?.. Если бы был одинок, право, порешил бы с собой! Не труд расстроил мое здоровье, а попираание моего человеческого достоинства. Ведь эти теперешние чиновники при театре просто – нашествие татар.

Мартынов сильно был взволнован. Под конец он печально улыбнулся и произнес:

– Что это со мной сделалось? Столько лет виду не показывал никому, как я страдаю, а тут все выболтал!

Желая как-нибудь развлечь Мартынова, я напомнила ему о его первом дебюте в «Филатке и Мирошке».

Он, улыбаясь, произнес:

– Это была единственная благодарность, полученная мною в долголетнюю мою службу от директора.

28-го августа того же года получено было моим мужем из Москвы от Островского следующее письмо:

«Горе, любезнейший Иван Иванович, большое горе! нашего Мартынова не стало. Он умер в Харькове на моих руках. Без страдания, угасая день за днем, он скончался, как ребенок, не сознавая даже своего положения. Я только вчера приехал в Москву разбитый, усталый. Я вам напишу подробно в виде письма о его болезни в продолжение четырех месяцев его жизни, дайте мне только немного опомниться. С Мартыновым я потерял все на петербургской сцене. Теперь не знаю, когда буду в Петербурге, мне как-то не хочется туда ехать. Пиеску я выправил и посылаю вам, сделайте милость, прикажите получше просмотреть корректуру. В Крыму я кой-что приготовил, а теперь засяду за работу. «Сон на Волге» постараюсь окончить поскорее. До свидания.

Преданный вам А. Островский».

Еще до получения письма от Островского, печальная весть о смерти Мартынова уже разнеслась по Петербургу.

В день прибытия тела Мартынова по Московской железной дороге (11 сентября 1860), собралась на площади у дебаркадера такая толпа народа, что, как говорится, негде было упасть яблоку. На протяжении всего Невского проспекта такая же сплошная масса ждала похоронной процессии. Движение экипажей было приостановлено, сама публика позаботилась не пропускать экипажей с боковых улиц, чтобы не давили народ. Полиция застигнута была врасплох, да она и не была нужна, потому что порядок везде был удивительный, с таким тактом и приличием держала себя публика.

Замечательно, что никаких приготовлений для встречи тела Мартынова не было, только появилось в двух или трех газетах извещение, что тогда-то гроб с телом Мартынова прибывает

на Московский вокзал и последует на кладбище. Не было выбрано распорядителей. Не было подписок на венки, не устраивалось никаких депутаций, не раздавалось билетов для входа в кладбищенскую церковь. А торжественнее этих похорон трудно что-нибудь себе вообразить. В церкви было очень мало русских артистов, но зато очень много из французской и немецкой трупп, а театральные чиновники и начальство совсем не удостоили явиться на похороны Мартынова.

Много было толков о небывалых похоронах Мартынова. Некоторые даже как бы обиделись, что публика оказала ему такой почет. Я слышала, как одно значительное лицо негодовало: «Скажите, пожалуйста, – говорило оно, – везут гроб актера, и нет проезда по Невскому!.. Такого беспорядка не должна была допустить полиция! Если видит, что не может сладить с толпой, требуй казаков, чтобы нагайками разогнали дураков!»

Русская сцена чуть было не лишилась в то же время еще талантливой актрисы Ю. Н. Линской. Компетентные судьи-чиновники также нашли ее бездарной, но мой отец защитил ее. Конечно, будь Линская смазливая личиком, то у нее нашелся бы покровитель из чиновников; но она была некрасива: маленького роста, дурно сложена, причем в ее фигуре особенно поражали коротенькие руки. Комический талант Линской был большой, она постоянно играла с Мартыновым. В «Грозе» Островского Линская показала, что может играть хорошо не одни комические роли.

Я привела только два примера того, как чуть было не лишилась русская сцена двух таких замечательных талантов, как Мартынов и Линская. Но кто знает, может быть, еще были такие же таланты, забракованные тогдашними ценителями сценического искусства, которые доказали свою специальность в совершенно другой отрасли искусства – наживать себе капитал при театре.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.